

Rainer Maria
RILKE
1875 – 1926

Bookmark 

Райнер Мария
РИЛЬКЕ

*Победивший
дракона*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44
Р 50

Перевод с немецкого А. Карельского, В. Микушевича,
Г. Ратгауза, А. Солянова, Е. Суриц

Серийное оформление В. Пожидаева

Оформление обложки В. Гореликова

- © А. Карельский (наследник), перевод, 2017
© В. Микушевич, перевод, 1971
© Г. Ратгауз (наследник), перевод, 2017
© А. Солянов (наследник), перевод, 2017
© Е. Суриц, перевод, 1988
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-09469-7

ЗАПИСКИ МАЛЬТЕ ЛАУРИДСА БРИГГЕ

Роман

11 сентября, rue Toullier¹

Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел: больницы. Видел человека, который закачался, упал. Его обступили, я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжело брела вдоль высокой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею? Я сверился с планом: Maison d'Accouchement². Хорошо. Ей помогут разродиться, там это умеют. Дальше — rue Saint-Jacques³, высокое здание под куполом. В плане — Val-de-grâce, Hôpital militaire⁴. Мне, собственно, это было незачем знать, впрочем, не мешает. Улица стала вонять. Воняло, насколько я мог различить, йодоформом, чадом от жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. Потом я увидел дом, странно слепой, как в бельмах, в плане он не значился, но я разобрал над дверьми: Asyle de nuit⁵. У входа были цены. Я прочел. Сходные цены.

¹ Улица Тулье (фр.) — в центре Парижа, на которой поселился Рильке в 1902 г. (Все примечания, не обозначенные пометкой *Примеч. авт.*, принадлежат переводчику.)

² Родильный дом (фр.).

³ Улица Сен-Жак (фр.) — находится в Латинском квартале.

⁴ Букв. «долина милосердия» (фр.) — монастырь и военный госпиталь.

⁵ Ночной приют, ночлежка (фр.).

Что еще? Ребенок в коляске. Опухший, зеленый, на лбу четкая сыпь, она, видно, уже подживала, ему было не больно. Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал йодоформ, чад картошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь. Это главное.

Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопают дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие, я все это слышу. Потом вдруг — сдержанней, глуше — шум с другой стороны, где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идет, идет — без конца. Уже тут, давно уже тут. И — мимо. И снова улица. Визжит девушка: «Ah, tais-toi, je ne veux plus»¹. Вверх летит звон трамвая, над всем, сквозь все, прочь, прочь. Кричит кто-то. Бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегченье — собака! Под утро даже поет петух — невыразимая благодать. Потом, вдруг, я засыпаю.

Это шумы. Но есть кое-что страшнее шумов — тишина. Я думаю, во время большого пожара наступает такой мучительный миг: водяные струи опадают, уже не карабкаются вверх пожарные, все замирает. Медленно рушится сверху черный карниз, и всей стеной, схваченной огнем, дом кренится — беззвучно. Все стоит, застыв, сжавшись, ждет страшного удара. Вот такая тут тишина.

Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой

¹ Да замолчи ты, я не хочу больше (фр.).

я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится — не знаю.

Сегодня писал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего три недели. Три недели в другом месте, в деревне например, промелькнули бы как один день, здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям — людям, которые не знают меня, я писать не могу.

Я говорил уже? Я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно. Но я учусь.

Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей — бездна, а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами, оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это — простые, бережливые люди; они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. Сойдет, говорят они, и кто им докажет обратное? Но спрашивается вопрос, раз у них несколько лиц, — что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако, бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну и что такого? Лицо есть лицо.

А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остается последнее. В этом, бесспорно, своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо, последнее за восемь дней снашивается до дыр, во мно-

гих местах делается тонким, как бумага; и все больше просвечивает изнанка, не-лицо, и так они вынуждены расхаживать.

Но женщина, та женщина! Она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу rue Notre-Dame-des-Champs¹. Я замедлил шаг, едва я ее увидел. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются.

Улица была пуста; ее пустота скучала; она хватывала шаги у меня из-под ног и громыкала ими, как деревянными башмаками. Женщина испугалась, слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя, так что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало, пустой оболочкой. Мне стоило невероятных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голой, ободранной головы без лица.

Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг заболею тут, ведь если кому-то вздумается меня отвести в Hôtel-Dieu², я там непременно умру. Он очень удобен, этот Hôtel, в него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом парижского собора — того гляди, налетит на тебя одна из повозок, на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие omnibusы, сигналившие пронзительно, без конца, так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету, втемясья какой-

¹ Улица Нотр-Дам-де-Шан (*фр.*) — в центре Парижа, неподалеку от Люксембургского сада.

² *Бука*. «приют Бога» (*фр.*) — парижская больница, построена в VII в.

нибудь ничтожнейшей личности срочно отправиться умирать в Божий ОТЕЛЬ. Умирующие настырны, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с rue de Martyrs¹, спешит на некое место в Cité². Эти проклятушие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вы вольны воображать изысканнейшие агонии. На это достанет воображенья консьержки. Если же у вас фантазия побогаче — тут для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене: два франка за смертный час.

Этот прелестный отель — чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига³ умирали здесь на немногих кроватях. Теперь умирают на пятистах пятидесяти девяти. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уж не отделяется столь тщательно; но ведь это не важно. Важно количество. Кому нынче нужна безупречно выполненная смерть? Никому. Даже богачи, которые уж могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи! Ведь как бывает. Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь, или тебя принуждают уйти — и опять ни малейших усилий. *Voilà votre mort,*

¹ Улица Мучеников (*фр.*).

² Сите (*фр.*) — старинный район Парижа.

³ Хлодвиг (ок. 466–511) — основатель Франкского королевства.

monsieur¹. Умираешь как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни (ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу; и больному, как говорится, просто нечего делать).

В санаториях, где умирают так дружно и с такой благодарностью к врачам и сиделкам, умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена; это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественней избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и соответственным пышным обрядам. Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадется хоть сколько-нибудь подходящая. Когда велика — не беда: всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет — тогда дело хуже.

Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали (а быть может, догадывались), что содержат в себе свою смерть, как содержат косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые — большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины — в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость.

Еще по деду моему, старому камергеру Бригге, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую! Протяженностью в два месяца и до того громкую, что слышно по всей округе.

¹ Вот ваша смерть, сударь (*фр.*).

Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору, казалось, пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружилось комнаты, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого сопроводила его наверх, в ту комнату, где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла в том точно виде, в каком она ее оставила двадцать три года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда ввалились всей ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил по робкой, вспугнутой мебели, неуклюже тыкался в поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки, молодые лакеи на все глазели разинув рты, слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились.

Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресла, покачивающейся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченые подоконники, вертели сторожкими острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточно-желтые таксички невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жесткошерстый угрюмый легавый пес терся спиной о край золотоногого столика, до дрожи пугая северские чашки на расписной столешнице.

Да, для рассеянных, сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой топорливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал, растоптанный; мелкие, слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались и, битые, поспешно водворялись на место; обломки совали за шторы, забрасывали за золоченую каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко падало на жесткий паркет и всегда разбивалось — громко раскалывалось или разлеталось беззвучно; изнеженные предметы не могли перенести паденья.

А спроси кто-нибудь, что́ причиной, кто наслал такую напасть на ревниво оберегаемый этот покой, ответ был бы один: Смерть.

Смерть камергера Христофа Детлева Бригге из Ульсгора. Он лежал на полу посреди комнаты, огромный, вздувая свой синий мундир, и не шевелился. На огромном, чужом, уже никому не знакомом лице были закрыты глаза, он не видел происходящего. Сперва пытались уложить его на кровать, но он воспротивился, он ненавидел кровати с той первой ночи, когда в нем завелась болезнь. Вдобавок кровать тут, наверху, оказалась ему мала, и оставалось только положить его на ковер; вниз возвращаться он не хотел.

И так он лежал, и казалось, он умер. Собаки, когда постепенно смеркалось, выскальзывали одна за другой в полуотворенную дверь; лишь хмурый легавый пес сидел рядом с хозяином, положив широкую косматую лапу на огромную серую руку Христофа Детлева. Слуги, все почти, тоже выходили в беленый коридор, где было светлей, чем в комнате; оставшиеся поглядывали украдкой на темнеющую на ковре гору и втайне желали, чтобы это была просто большая одежда, прикрывавшая тление тела.

Но было еще и другое. Был голос. Голос, который вот уже семь недель был никому не знаком, ибо то не был голос камергера. То был не голос Христофа Детлева, то был голос его смерти.

Много, много дней уже смерть Христофа Детлева Бригте жила в Ульсгоре, ко всем взывала и требовала: требовала перемещений, требовала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный зал, требовала собак, требовала, чтоб кругом говорили, смеялись, играли, молчали — всё сразу. Требовала, чтоб привели друзей, привели женщин и тех, кто умер давно, требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала. Требовала и орала.

И когда наступала ночь и замученные слуги, освобождаясь от бдения подле Христофа Детлева, пытались вздремнуть, смерть его орала, орала, стонала. Она вопила так долго и так неотступно, что собаки, сперва подвывавшие ей, смолкали и, не смея прилечь, стояли на длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал до деревни сквозь серебряную, просторную датскую ночь, там, как в грозу, вставали с постелей, одевались и молча сидели под лампой, пока он не стихнет. И женщин на сносях прятали в самые дальние комнаты, за самые густые пологи; и все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из утробы, и они молили, чтобы им позволили встать, и, широкие, белые, со стертymi лицами, садились рядом со всеми. И стельные коровы, которым пришел срок, не могли отелиться; и у одной пришлось вырвать мертвый плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить. И все в усадьбе скверно выполняли работу, забывали метать стога, потому что весь день они в ужасе ждали ночи и так устали от бессонных ночей, что ничего уже не понимали. А по воскресеньям в белом, мирном храме они

молились, чтобы не было в Ульсгоре хозяина. Потому что то был страшный хозяин. И все, о чем молились они, громко твердил пастор с амвона; ведь и сам он лишился ночей и уже не понимал Господа. И то же твердил колокол, напуганный страшным соперником, гудевшим ночь напролет, с которым не мог он тягаться, как ни надсаживал свое медное натруженное нутро. Да, все твердили одно. И был среди крестьян помоложе один, которому приснился сон, будто он пошел в господский дом и заколол хозяина вилами. И так все были измучены, так взвинчены, что, пока он рассказывал сон, невольно поглядывали на него, прикидывая, способен ли он на такое. И так думали и говорили по всей округе, где еще несколько недель назад любили и жалели камергера. Все говорили одно, но ничто не менялось. Смерть Христофа Детлева, обитавшую в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она явилась на десять недель и ровно десять недель продержалась. И все это время она нераздельно властвовала в Ульсгоре, как никогда не властвовал камергер. Как царь, вековечно зовущийся Грозным.

И то не была смерть кого-то, больного водяной; то была жестокая княжья смерть, которую камергер в себе питал и вынашивал. Всеми излишками гордости, своеволия, властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, теперь завладела смерть, и смерть, окопавшись в Ульсгоре, их расточала.

Как взглянул бы камергер Бригге на того, кто пожелал бы ему умереть не такой смертью, иначе? Он умер своей, тяжелой смертью.

И как вспомню других, кого я видел, о ком слышал, — все то же. Они умирали своей смертью. Мужчины вынашивали свою смерть, загнавши в себя, как пленника; женщины делались очень старыми, очень

маленькими и на огромной постели отходили достойно и скромно, как на сцене, под взорами челяди, родных и собак. Даже совсем крошечные дети и те умирали не как придется, нет, они владели собой и умирали, как им подобало или как им подобало бы в будущем. А женщинам, беременным женщинам, когда они обнимали невольно тонкими руками большие свои животы, им печальную прелесть два плода придавали: ребенок и смерть. И не оттого ли на опустелых лицах медлила густая, почти насыщающая улыбка, что они чувствовали, как созревают оба плода?

Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал; и теперь совершенно умаялся, как бывало, после долгой прогулки в полях Ульсгора. А ведь жаль, что всего этого уж нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может статься, в белой комнате, наверху по фасаду, спят теперь горничные, спят тяжелым влажным сном с вечера до утра.

А у меня нет ничего, никого, я скитаюсь по свету с сундучком да связкою книг, даже без любопытства. Ну что, в самом деле, за жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Если бы хоть воспоминанья остались. Да у кого они остаются? Было детство — и нет его. Быть может, надо состариться, чтоб опять этим всем овладеть. Да, наверное, лучше состариться.

Сегодня было прекрасное осеннее утро. Я прошелся по Тюильри. Все, что лежало на востоке, под наползавшим солнцем, слепило. Все, на что падало оно, занавесил туман, будто серым пологом света. Серые на сером, в еще не оголенном саду, замеча-

лись под солнцем статуи. Цветы на длинных газонах, вдруг вострепнувшись, вскрикивали испуганно: «Красное!» Потом очень высокий худой человек вышел из-за угла, с Елисейских Полей. У него был костыль. Но он не опирался на него, он выбрасывал его вперед и то и дело стучал им оземь, словно жезлом герольда. Он не мог подавить радостную улыбку и улыбался всему: солнцу, деревьям. Поступь у него была неверная, как у ребенка, но странно легкая, полная памяти о прежней ходьбе.

Всё из-за луны, такой маленькой. В эти дни все вокруг нас легко, прозрачно, едва прихвачено яркостью воздуха и, однако, отчетливо. Близь вбирает цвета дали, льнет к ней и сама ею прикидывается. И все, что рвется в простор: река, мосты, безоглядно себя расточающая площадь, — как рисунок на шелку, закреплено на этом просторе. И уже не разобрать, что обернется светло-зеленой каретой на Pont-neuf¹, красной неумной вспышкой или просто плакатом на брандмауэре жемчужно-серого дома. Все упрощено, сведено к ясным, четким планам, как лицо на одном портрете Мане. Ничего мелкого, случайного. Букинисты на набережной раскладывают свой товар: свежая блеклая желтизна листов, лиловая темь переплетов, обширная зелень карт — все дружит, все обща создает полноту, где ни в чем нет недостатка.

Внизу следующая сцена: женщина толкает тележку; ближе к передку, боком — шарманка, сзади, поперек — коляска, в ней на крепких ножках стоит совсем крошечный малыш в чепчике, очень довольный и ни за что не желает садиться. Время от времени

¹ Новый мост (*фр.*) — мост через Сену, в центре Парижа.

женщина вертит шарманку. Тогда малыш принимается топотать ножками, а девочка в зеленом воскресном платице пляшет и бьет в тамбурин, протягивая его к окнам.

Думаю, мне пора приняться за какую-то работу, раз я научился видеть. Мне двадцать восемь лет, а почти ничего не сделано. Припомним: я написал этюд о Карпаччо¹, и скверный этюд, драму, которая называется «Супружество» и призвана доказать ложную мысль не лучшими средствами, и кое-какие стихи. Ах, но что пользы в стихах, написанных так рано! Нет, с ними надо повременить, надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными. Стихи ведь не то, что о них думают, не чувства (чувства приходят рано), стихи — это опыт. Ради единого стиха нужно повидать множество городов, людей и вещей, надо понять зверей, пережить полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром. Надо вспомнить дороги неизвестных стран, нечаянные встречи, и задолго чуемые разлуки, и до сих пор не опознанные дни детства, родителей, которых обижал непониманием, когда они несли тебе радость (нет, та радость не про тебя), детские болезни, удивительным образом всегда начинавшиеся с мучительных превращений, и дни в тишине затаившихся комнат, и утра на море, и вообще море, моря, и ночи странствий, всеми звездами мчавшие мимо тебя в вышине, — но и этого еще мало. Нужно, чтобы в тебе жила память о несчетных ночах любви, из которых ни одна не похожа на прежние, о кри-

¹ *Витторе Карпаччо* (ок. 1455 — ок. 1526) — венецианский художник.

ках женщин в любовном труде и легких, белых, спящих, вновь замкнувшихся роженицах. И нужно побыть подле умирающего, посидеть подле мертвого, в комнате, отворенным окном ловящей прерывистый уличный шум. Но мало еще иметь воспомина- нья. Нужно научиться их прогонять, когда их много, и, набравшись терпения, ждать, когда они снова придут. Сами воспоминания ведь мало чего стоят. Вот когда они станут в тебе кровью, взглядом и жестом, безымянно срastутся с тобой, вот тогда в некий ред- костный час встанет среди них первое слово стиха и от них отойдет.

Мои же стихи все получались иначе, стало быть, и не стихи. А когда я писал драму — куда меня занес- ло? Глупец я или слепой подражатель — зачем мне понадобился третий, чтобы рассказать о судьбе дво- их, терзающих друг друга? Да, легко я попался на удочку. А мне бы знать, что этот третий, заполонив- ший нашу жизнь и нашу литературу, этот призрак того, чего не было никогда, — совершенно лишний и пора от него отделаться. Он — одна из уловок при- роды, вечно старающейся нас отвлечь от своих глу- бочайших тайн. Он — ширма, за которой разворачи- вается драма. Он — шум у входа в безмолвие под- линных перипетий. Надо полагать, всем до сих пор казалось чересчур мучительно говорить о тех двоих, в которых суть; с третьим же, именно в силу его вы- думанности, куда как легко, с ним справится всякий. И с самого начала в драмах проглядывает нетерпе- ние, там ждут не дождутся третьего. Он является — и все идет как по маслу. Но до чего же томительно, когда он запаздывает, без него ничего решительно не происходит, все запинается, стопорится, стоит. А ну как продлился бы этот застой? Что, господин драма-

тург, что, поднаторевшая публика, что, если б он провалился в тартарары, твой любимый светский хлыщ или юный проказник, как отмычка, взламывающий любое супружество? Что, если б его, к примеру, черт побрал? Вот предположим. Тотчас обнаруживаются противоестественные пустоты театров, их огораживают, точно опасные люки, и только моль ссыпается с барьеров лож в пропасть партера. Драматурги уже не благоденствуют в роскошных кварталах. Все сыскные агентства ищут для них незаменимого, без которого не быть действию.

А меж тем они живут ведь среди нас, не эти «третьи», но двое, о которых небывало многое бы можно сказать, и, однако ж, ничего до сих пор не сказано, хотя они мучатся, совершают поступки, все больше запутываются.

Смешно. Вот сижу я в своей каморке, я, Бригге, которому двадцать восемь лет и о котором ровно никто не знает. Я здесь сижу, и я — ничто. И однако же, это ничто начинает думать у себя, на пятом этаже, в серый парижский денек, и додумывается до такого.

Возможно ли, думает оно, что все существенное и нужное еще не увидено, не опознано и не сказано? Что тысячелетия, которые были отпущены нам на то, чтоб смотреть, размышлять и записывать, промелькнули школьной переменкой, когда едва успеваешь проглотить бутерброд и яблоко?

Да, возможно.

Возможно ли, что, невзирая на прогресс и открытия, культуру, религию, философию, мы застряли на житейской поверхности? Что даже и поверхность эту, которая хоть что-то да могла собой выражать, мы затащили такой непереносимо скучной материей, что она смотрит гостиной мебелью, когда хозяева уехали на лето?

Да, возможно.

Возможно ли, что вся история человечества ложно истолкована? Что все прошедшее искажено, ибо нам вечно толкуют о массах, тогда как дело совсем не в толпе, а в том единственном, вокруг кого она теснилась, потому что он был ей чужд и он умирал?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы вообразили, будто нам следует наверстать все, случившееся до нашего рождения? Что каждому вдалбливают, что он — продолжение всех, кто был до него, и обязан это помнить, и ни-ни не давать себя переубедить тем, кто считает иначе?

Да, возможно.

Возможно ли, что люди до мелочей знают прошлое, какого и не существовало? Что действительность ничего не значит для них, что жизнь их идет, не сообразуясь ни с чем, как в пустой комнате часы?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы ничего не знаем о девушках, а они живут ведь на свете? Что мы говорим «женщины», и мы говорим «дети», «мальчики», не подозревая (при всей нашей образованности не подозревая), что слова эти давно затеряли свое множественное число в несчетной россыпи единиц?

Да, возможно.

Возможно ли, что есть люди, которые, говоря о Боге, разумеют одно и то же? Вообразите двух школьников. Один покупает перочинный ножик, и приятель его в тот же день покупает точно такой же. Через неделю они эти ножики сравнивают, и выясняется, что они почти не похожи, — так разнó сложилась судьба их в разных руках. (А то как же, скажет мать одного, вечно вам сразу все пустить в дело...) Вот оно что...

Но возможно ли предположить, что, имея Бога, ты к нему не прибегнешь?

Да, возможно.

Но если все это и впрямь возможно, если тут есть хоть тень возможности, нельзя же, чтоб так оставалось! И первый, кого ошарашила эта мысль, должен попытаться что-нибудь предпринять, пусть даже он и не наиболее подходит для этой цели: другого-то нет под рукою. И молодой неприметный иностранец Бригге должен усесться за стол у себя на пятом этаже и писать день и ночь напролет, да, надо писать, вот и все.

Было мне тогда лет двенадцать, никак не больше тринадцати. Отец взял меня с собою в Урнеклостер. Уж не знаю, зачем понадобилось ему наведаться к тестю. Они не видались давно, с самой смерти моей матери, и отец не бывал в старом замке, куда лишь незадолго до того удалился от света старый граф Брае. Я никогда потом уж не видел удивительного дома, который по смерти деда перешел в чужие руки. Детское воображение не вверило его моей памяти цельной постройкой. Он весь раздробился во мне; там комната, там другая, а там отрывок коридора, но коридор этот не связывает двух комнат, но остается сам по себе, отдельным фрагментом. И так разъединено во мне все — залы, степенный спуск ступеней и другие, юркие выющиеся лесенки, которые, как кровь по жилам, гонят тебя во тьме; башенные покои и повисающие над высотой галереи, неожиданные террасы, на которые тебя швыряют вдруг маленькие дверцы, — все это до сих пор во мне и будет во мне всегда. Будто образ дома упал с безмерной высоты на дно моей души и там разбился.

Целой удержалась в моем сердце, кажется, только столовая, в которой мы каждый вечер в семь часов сходились обедать. Я ни разу не видел ее днем, не помню даже, были ли там окна и куда они выходили; когда являлась семья, уже неизменно горели свечи в тяжелых шандалах, и тотчас забывалось время дня и все виденное снаружи. Этот высокий и, вероятно, сводчатый зал был сильнее всего; сумрачной своей высотой, затененными углами он вымогал у тебя все образы, ничего точно очерченного не предлагая взамен. Ты будто в нем растворялся, оставался без воли, разума и желаний, без защиты. Делался пустым местом. Помнится, сперва от этой моей отмененности меня мучила почти дурнота, нечто вроде морской болезни, которую я превозмогал, вытягивая ногу и касаясь колена сидевшего напротив отца. Лишь позже пришло мне в голову, что он понимал или, по крайней мере, терпел мой странный маневр, хотя отношения наши были скорее прохладны и, казалось, не допускали подобных выходов. Так или иначе, это тихое соприкосновение давало мне силы выдерживать долгие трапезы. И через несколько недель судорожного терпенья с почти непостижимой детской гибкостью я так приноровился к жути этих собраний, что почти без труда высиживал за столом два часа; они проходили даже сравнительно быстро, ибо я занимался тем, что наблюдал присутствующих.

Мой дед называл их «семья», и другие, я слышал, тоже пользовались этим обозначением, впрочем вполне произвольным. Ибо, хоть и находясь в отдаленном родстве, четверо за столом мало имели общего. Дядюшка, сидевший со мною рядом, был старик с жестким и смуглым лицом в черных отметинах — следствие, как потом я узнал, порохового

взрыва; хмурый, всегда недовольный, он вышел в отставку майором и теперь занимался алхимией где-то в неведомых мне покоях замка и, как узнал я от слуг, был в сношениях с острогом, откуда раза два в году ему поставляли трупы, и он просиживал тогда дни и ночи, препарируя их таинственным образом так, чтоб они не давались распаду. Напротив него помещалась фрейлейн Матильда Брае. То было безвозрастное создание, дальняя родственница моей матери, примечательная лишь тем, что она состояла в усердной переписке с неким австрийским спиритом, именовавшим себя барон Нольде, и подчинялась ему во всем, ничего решительно не предпринимая без его совета или, верней, своего рода благословения. К тому времени она ужасно раздалась, и рыхлая, ленивая ее полнота небрежно вливалась в широкие яркие платья; жесты у нее были вялы и невыразительны, и постоянно слезились глаза. И однако что-то в ней напоминало о хрупкой, стройной моей матери. Чем дольше я ее наблюдал, тем больше различал тонкие, тихие черты, которых не мог хорошенько вспомнить после смерти папа, и лишь после того, как я ежедневно разглядывал Матильду Брае, я наконец вспомнил, как выглядела умершая; может быть, даже впервые узнал. Лишь тогда сотни и сотни частности в образе покойной слились во мне в тот образ, с которым я не расстаюсь. Потом я понял, что в лице фрейлейн Брае совмещались те частности, которые определяли дорогие мне черты, только меж ними словно втиснулось чужое лицо, и они сместились, разъехались и уже не составляли целого.

Подле этой дамы сидел сын какой-то кузины, мальчик почти одних со мною лет, но тщедушней и меньше ростом. Белая тонкая шея его вылезала из

плоеного ворота и пряталась под вытянутым подбородком. Губы были узкие и плотно сжаты, ноздри тихонько подрагивали, а из прекрасных темно-карих глаз поворачивался только один. Частенько он поглядывал на меня через стол спокойно и грустно, тогда как другой был неподвижно уставлен в угол, будто списанный и забытый.

Во главе стола стояло огромное кресло деда, которое слуга, не имевший иных обязанностей, поддвигал для него и в котором совершенно терялась маленькая фигурка графа. Были люди, величавшие тугоухого и крутого барина превосходительством и гофмаршалом, другие называли его генералом. И он, вне сомненья, был носителем всех этих почестей, но так давно отошел от дел, что обращения казались почти непонятны. Мне вообще представлялось, что мгновеньями ярко проглядывавшая и тотчас вновь туманившаяся его индивидуальность не покрывалась никакими наименованиями. Я не решался называть его дедушкой, хоть подчас он бывал благосклонен ко мне, а иной раз даже к себе подзывал, норовя шутиливо выговаривать мое имя. Впрочем, вся семья относилась к графу с почтением, приправленным робостью, и только маленький Эрик пользовался, кажется, доверенностью дряхлого хозяина дома; подвижный его глаз бросал ему, случалось, быстрый заговорщический взгляд, на который дед отвечал с таким же проворством; нередко в медленные послеполуденные часы их наблюдали в дальнем конце галереи, где они прогуливались рука об руку мимо темных старых портретов и молчали, бог весть каким способом общаясь.

Я же чуть не целыми днями пропадал в парке, а то в буковой роще или на лугу; к счастью, в Урне-

кlostере были собаки, они сопровождали меня; то и дело я набредал на ферму или мызу, там подкреплялся хлебом, фруктами и молоком и, кажется, беспечно наслаждался свободой, не даваясь жутким мыслям о вечерних сходках, по крайней мере в первые недели. Я почти ни с кем не разговаривал, и одиночество было моей отрадой; только с собаками вел я немногословные беседы, и мы превосходно понимали друг друга. Молчаливость, пожалуй, наша семейная черта. Я привык к молчанью отца, и меня не удивляло, что за столом здесь не ведутся беседы.

В первые дни по нашем приезде Матильда Брае, впрочем, была весьма словоохотлива. Она расспрашивала отца о старых знакомых в городах за границей, предавалась давним воспоминаниям и трогала самое себя до слез, вызывая образы покойных подруг и некоего молодого человека, который, как она намекала, ее любил, но она не сумела ответить на его верные безнадежные чувства. Отец слушал учтиво, иногда понимающе склонял голову и отвечал только при крайней необходимости. Граф во главе стола не переставал улыбаться горестным ртом, и лицо его казалось больше обыкновенного, будто на него надели маску. Время от времени он вставлял свое слово, и ни к кому в отдельности не обращенный голос его, хоть и тихий, отдавался по всему залу; он был размерен и равнодушен, как ход часов; на него отзывались провалы тишины — равные после каждого слога.

Граф Брае почитал особой любезностью говорить с моим отцом о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сибиллой, и каждая его фраза заканчивалась как бы вопросом о ней. Уж не знаю почему, но мне казалось, что речь идет о совсем юной девочке в белом, которая вот-вот среди нас объ-

явится. В том же тоне говорил он при мне о «нашей маленькой Анне-Софи». И когда я однажды спросил, кто эта фрейлейн, которую, кажется, так любит де-душка, мне объяснили, что он понимает дочь Великого Канцлера Конрада Ревентлова, некогда морганатическую супругу Фридриха IV¹, уже полтора столетия покоящуюся в Роскилле². Хронология для него не играла ровно никакой роли, смерть была безделицей, которой он не замечал, люди, которых однажды он включил в свою память, продолжали существовать, и кончина их решительно ничего не меняла. Спустя несколько лет, уже после его смерти, рассказывали, что с тем же упорством он и будущее считал настоящим. Говорят, он беседовал с некой молодой дамой о ее сыновьях и особенно распространялся о путешествиях одного из них, покуда молодая особа на третьем месяце первой беременности чуть не в обмороке, сама не своя от ужаса слушала неумолкавшего старика.

Но тогда началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко хохотал и не мог с собой сладить. Однажды вечером Матильды Брае не было за столом. Дряхлый, почти совсем ослепший лакей, подойдя к ее месту, однако же, протянул блюдо к пустому прибору. Так он постоял немного; затем, достойно и важно, будто все в совершенном порядке, он двинулся дальше. Я видел эту сцену, и покуда я ее наблюдал, она мне вовсе не казалась комической. Но позже, когда я уже сидел с набитым ртом, меня внезапно так разобрал смех, что я поперхнулся и наделал шуму. И как я ни терзался, как ни настраивался изо всех сил на серь-

¹ *Фридрих IV* — датский король (1699–1730).

² *Роскилле* — собор XIII в., где находится усыпальница членов датской королевской фамилии.

СОДЕРЖАНИЕ

Записки Мальте Лауридса Бригге <i>Перевод Е. Суриц</i>	5
Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке <i>Перевод Е. Суриц</i>	196
Победивший дракона. <i>Перевод А. Карельского</i>	207
Пьер Дюмон. <i>Перевод Г. Ратгауза</i>	213
Стихотворения в прозе. <i>Перевод А. Солянова</i>	220

ПРИЛОЖЕНИЯ

Огюст Роден. <i>Перевод В. Микушевича</i>	231
Письма о Сезанне. <i>Перевод Г. Ратгауза</i>	313
Письма к молодому поэту. <i>Перевод Г. Ратгауза</i>	339

Рильке Р. М.

Р 50 Победивший дракона / Райнер Мария Рильке ; пер. с нем. А. Карельского, В. Микушевича, Г. Ратгауза и др. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 384 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-09469-7

Райнер Мария Рильке — один из крупнейших поэтов XX столетия, родился в Праге, где провел детство и юность, жил в Берлине, Париже, Швейцарии. Мировую славу поэту принесли его сборники «Книга образов», «Часослов», «Сонеты к Орфею», однако проза Рильке не менее прекрасна и значима, чем его стихи. В настоящий сборник вошли все известные прозаические работы автора, в числе которых блистательный роман «Записки Мальте Лауридса Бригге», «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», сказка «Победивший дракона», небольшая зарисовка «Пьер Дюмон», стихотворения в прозе, а также в качестве приложения эссе о Родене и знаменитые «Письма о Сезанне» и «Письма к молодому поэту», ярчайшим образом выражающие взгляды поэта на поэзию и искусство.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Литературно-художественное издание

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
ПОБЕДИВШИЙ ДРАКОНА

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Валентина Гончар, Ирина Сологуб
Компьютерная верстка Михаила Львова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 10.10.2017. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 16,92.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.aoompk.ru, www.aoompk.rф
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Y-AKB-17493-02-R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, pop-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/